

## В ПЛЕНУ У БАУЭРА

Его звали Иона Михалыч. Он жил на нашей улице и часто приходил к нам домой на посиделки. По вечерам у нас собирались мужики, чтобы поговорить о том, о сём. Все местные люди знали, что Иона был в немецком плену, работал на хуторянина-бауэра, однако из деликатности они его редко об этом спрашивали. Что сам расскажет, то и слушали.

О своём пребывании в Германии Михалыч рассказывал неохотно. Мужчина высокого роста, мощного сложения, он чем-то был похож на Сапрона, который тоже часто приходил к нам в дом на посиделки. Но Сапрон, как и мой отец, были настоящими фронтовиками, а Иона — бывший пленник, оттого в общении между ними ощущалась неловкость, молчаливая недоговорённость. Хотя в войну многое происходило с людьми.

Если черты лица Сапрона при всём его богатстве были тонкие, резкие, порой жёсткие, то Иона Михалыч то и дело расплывался добродушной улыбкой, его большой широкий рот с толстыми лоснящимися губами непропорционально выделялся на лице. Таким ртом можно, наверное, проглотить полбуханки хлеба. Шутил, что в плену «заработал» себе постоянный голод, и теперь всё время хочет есть.

Слушая необыкновенные, порой забавные истории, я хохотал, лёжа на печи, где мне было тепло, уютно и не страшно.

У нас дома к осени всегда были мочёные кислые груши, чугуны с мочёнками стоял всегда на лавке, их можно было брать и есть сколько угодно, чем Иона и пользовался, опорожняя чугуны наполовину.

Иона Михалыч во время своих воспоминаний по имени своего бывшего немецкого хозяина даже называть не хотел, вроде бы Иоганн его звали: «мой свиный Гитлер», «мой фашист»... — бывший раб продолжал ненавидеть своего бауэра даже спустя десятилетия. Мечтал поехать в Западную Германию, поймать Иоганна где-нибудь возле усадьбы и от души набить ему рожу, отомстив таким образом за свои мучительные годы.

Однажды, собравшись с духом и перестав есть груши, Иона рассказал, как попал в плен, выбираясь из окружения под Смоленском, как на поезде его везли

до лагеря Дессау — там Иона вместе с другими невольниками строил бараки, разгружал вагоны с углём.

Охранник Хайнц, коммунист в душе, тайно принёс в барак проволоку, наушники, серу, кусочек свинца от пули — для детектора. Смесь серы и свинца переплавили в напёрстке. Получился бурый кристалл, на который нацеливали остриё булавки с подключённым проводом, после чего происходило чудо: под действием тока, поступающего из антенны, звучали голоса и мелодии — постоянно шли сообщения из Москвы! Заключённые по очереди слушали голос Левитана, шёпотом повторяли текст сообщений. Мужественный, стойкий, совершенно непоколебимый голос! За голосом Левитана, звучащим над всеми просторами мира, стоял весь тогдашний необъятный и непобедимый СССР.

Чтобы лучше настроиться на советскую радиостанцию, подсоединили к приёмнику конденсатор, сделанный из консервной банки, намотали триста витков катушки из медной проволоки. Вскоре в наушниках заключённые услышали слово «Сталинград». «Наши разбили немцев под Сталинградом!»

Анна, чешка, которая поддерживала связь между лагерями, принесла записку о готовящемся восстании сразу нескольких лагерей. Шифр заключался в письме мнимой возлюбленной к

одному из заключённых. В каждом третьем слове вторая буква — шифрованная. Заключённые в лагерях Дессау, Рослау и других были готовы на всё. Планировалось захватить пушки, затем открыть огонь по гестаповцам.

Однако восстание провалилось, нашлись изменники. Анну и Хайнца расстреляли, самодельный приёмник отобрали. Заключённых отдали на работу в разные города Германии, Иона попал в деревню к бауэру.

«Разум тогдашних немцев ушёл в войну, они свой дух в неё полностью вогнали!.. — размышлял Иона во время посиделок. — Многое они делали по хозяйству механически, жалости к рабам не было. Бауэры с виду вялые, жадные, но хитрые, себе на уме. Типичные русские кулаки! Мой бауэр относился ко мне вообще как к скотине, свиней он уважал больше, чем меня...»

Работая на хуторе с утра до вечера, Иона часто вспоминал, что где-то далеко живёт и ждёт его освободительница земель — Москва. Она уже близко — идёт в Европу вместе со своими войсками, об этом открыто говорили на хуторе. Иона мстительно думал: вот придут наши, конфискуют эти мощёные дворики, каменные сараи, жирных свиней отправят на полевые кухни, солдаты зачастую выдают выскобленных до блеска коров...

В неволе Иона познакомился с будущей женой Верой Павловной, её также привезли в Европу

в телячьем вагоне, на котором была надпись: «Да здравствует Германия!» Вера родом с Белоруссии — отец её погиб, брат партизанил, он остался жив. На малолюдном хуторе раб и рабыня встретились, познакомились, полюбили друг друга. Кругом тоска, тяжёлый труд изо дня в день: поля, хлев, огород, кухня... Казалось, ненависть к войне запечатлена в окружающем уютном пейзаже.

Однажды хозяйка отлупила ремнём бауэра за то, что приставал к Вере. Иона также ему пригрозил расправой. Иоганн не на шутку испугался — русские приближались к территории Германии.

Спустя годы Иона Михалыч размышлял: потерял он в плену своё человеческое достоинство или нет? Мужики за чекушкой водки его успокаивали — радуйся, что живой остался, что тут, в нашей стране, тебя не посадили как шпиона, разобрались, что ты пострадавший советский человек. Достоинство не в том, что пленный вынужден есть мессиво вместе со свиньями и хочет выжить, а в том, что он, как и всякий воин, надеется на победу. Иона в плену мечтал совершить какой-нибудь подвиг. Но что же такого великого сделать? Хозяин при всей своей отвратительности и жадности смешон, свиней отравить — бауэр сдаст обратно в лагерь. Иона, будучи высок и полон телом, не наедался пайком, который выделял для своих

работников бауэр, поэтому Ионе приходилось становиться на колени, зачёрпывать пригоршнями месиво из свиного корыта и жадно, торопливо насыщать свой желудок. Свины сердчались, норовили его укусить.

Бауэр заметил, что свины не наедаются, выследил Иону и в качестве наказания запер его в сарай, посадил на голодный паёк. Иона едва не умер от истощения, но Вера приносила тайком еды — она работала в поле и делилась с Ионой своим пайком.

«В нашей России нет ни одного бауэра! — с гордостью думал Иона, сидя в тёмном холодном подвале. — Одни только настоящие колхозы! В своём селе я опять буду вольный человек, там не придётся воровать корм у свиней...»

До военнопленных доходил слух, что с картошкой в России туго, собираются по весне картофельные очистки в землю сажать. Вера вздыхала, ворчала:

«Из очисток крупные клубни не вырастут... В Германии колхозов нет, народ живёт богато, чисто, а у наших колхозников ничего нет, живут в грязи и холоде...»

«У немцев все богатства не свои — награбленные со всей Европы! — объяснял ей с жаром Иона. — Всё здесь создано невольным трудом, как ты не понимаешь, Вера? От жира немец взбесился, попёр на Россию, сколько наших людей в землю положил!»

«Даже в свинарниках, конюшнях — каменные полы, чистота, много корма — разве это награбленное? — не унималась Вера. — Объясни, почему у них жизнь правильная?»

Иона озирался, морщился:

«Что же здесь такое «правильное»? Конечно, в хозяйственных делах, в чистоте и бережливости нам до немца далеко. Россия — страна отсталая, мы и в войне-то побеждаем с великим трудом... Мои родители в колхозе за «палочку» работают, недоедают, лишь бы армия в боях закрепила победу».

Через неделю бауэр освободил Иону из карцера, они запрягли в две большие телеги с высокими бортами коней-тяжеловозов, поехали в ближайший лагерь заключённых — за пеплом. Возле куч золы собралось много телег и грузовиков из окрестных хуторов. Зола людей — дармовое, насыщенное минералами удобрение, бауэры ссорились из-за места в очереди. Грузили пепел совковыми лопатами, Иона кашлял от серой пыли, глаза слезились...

Домой бауэр ехал сидя на мешковине, поверх горы пепла, насыпанного в телегу. Иона понуро брёл рядом со своей лошастью, хотя тоже мог ехать, постелив на пепел домотканый коврик.

«Чего же ты не садишься на телегу, пепел лёгкий, я тебе разрешаю ехать!» — оборачивался бауэр.

«Потому и не еду, что пепел этот слишком тяжёлый...» — вздыхал Иона.

На следующий день они этим пеплом удобряли поля, брали светлый лёгкий порошок лопатами, разбрасывали по грядкам.

Когда Иона Михайлович рассказывал про пепел, он вновь задыхался и кашлял, словно едкие частицы вернулись в нашу сельскую хату из тех давних германских лет, и опять человеческая пыль точила ему горло, вышибая из глаз слёзы. От пепла руки его становились красными, словно от негашеной извести. В куче пепла Иона нашёл оплавившиеся золотые часики, женские, страшные, без стрелок, похожие на сверкающую жёлтую каплю с вкрапленными чёрными точками.

Тучная выросла у бауэра картошка, и свёкла уродилась, было много других овощей, колосилась пшеница. Ионе казалось, что колосья сверкают под солнцем блеском миллионов глаз, в картофельных клубнях бугрятся человеческие лица, в бурачной свёкле — краснота чужой крови.

Иона в тот год совсем исхудал — великан брезговал есть хлеб и свиное сало, пропитанные сладким человеческим духом, перенесённым в еду из лагерного пепла. Иона во многом питался ненавистью к врагам: «Будьте вы прокляты со своей войной и со своими концлагерями!»

Бауэр, надеясь, что русских прогонят, стал ещё зажиточнее — двор заасфальтирован, скотные помещения вычищены, коровы пьют из чугунных раковин, нажимая мордой на клапан. Позже в советских колхозах появятся такие же автопоилки на молочных фермах, а Иона, работая в колхозной мастерской токарем, будет вытачивать для поилок запчасти. Он первым на нашей улице купил себе радиоприёмник «Рекорд» — ездил за ним в Москву, достал на складе у знакомого кладовщика. По приёмнику он иногда слушал западные голоса, надеясь что-либо услышать о своём ненавистном враге Иоганне, процветающем западногерманском фермере. Однажды радиоприёмник сломался, и он позвал меня его чинить. Я пришёл, снял с приёмника заднюю картонную стенку, стёр с неё пыль.

Иона Михалыч с напряжённым вниманием вглядывался во внутренности приёмника, стараясь разглядеть «детектор». Он считал, что все приёмники устроены из детекторов, вроде того, который изготовили заключённые немецкого концлагеря.

— Здесь должен быть серый камешек с жёлтыми блёстками, а в него упёрта иголка! — чуть ли не кричал он. — Я видел там, как устроен приёмник...

Я показал ему перегоревшую лампу, и тут же заменил её — приёмник заработал. Иона Михалыч огорчился, что в

приёмнике он не увидел знакомого ему «детектора».

Вскоре он купил телевизор. В то время это была диковинка, телевизоры доставали по блату, а у Ионы был в Москве знакомый по лагерю кладовщик. Мы с отцом в те годы часто ходили к нему, как тогда выражались, «на телевизор». Отец любил фильмы 30-х, я же предпочитал кинокомедии и футбол. Кстати, Иона Михалыч тоже был заядлым футбольным болельщиком. Правда, болел он только за сборную СССР и болезненно переживал каждый её проигрыш. А проигрывала команда частенько.

Мы, пацаны, в то время старались не пропускать ни одного матча международного масштаба. Иона был не очень гостеприимен, однако на футбол разрешал приходиться всем желающим — мальчишки сидели на полу, на стульях, полностью заполняя небольшую комнату, где стоял телевизор. Всех наших футбольных противников Иона Михалыч называл почему-то «фашистами», громогласно кричал в экран телевизора, ободряя таким образом нашу команду и обрушивая на соперников шквал ругательств. После каждого гола, забитого в наши ворота, Иона Михалыч тяжело стонал, поднимался с табурета:

— Что за команда? Кого набрали — мазилы! У фашистов не могут выиграть, дармоеды!..

— Он хватал из кастрюли, стоящей на полу возле телевизора, большой пельмень, засовывал в свой огромный рот и мгновенно его съедал.

Мальчишки с изумлением смотрели на него — вот это едок! Пельмени и котлеты, говорил Иона, помогают ему заглушить гнев от поражения наших футболистов. Он не отрывал взгляда от чёрно-белого экрана, где советские игроки мужественно боролись хотя бы за ничью.

Иона Михалыч был в посёлке уважаемым человеком, считался токарем-универсалом. Водки почти не пил, заказы текли к нему со всех сторон, по тем временам жил он безбедно. Наголодавшись в плену, Иона сам готовил еду очень вкусную и в больших количествах. Домашние котлеты у него получались размером с мужскую ладонь, пельмени — величиной с лапоть. Он любил хорошо поесть, хотя в те послевоенные годы мясная еда для многих была роскошью.

Сковороды и кастрюли в его кухонном закутке были намного больше обычных, чем нужно для семьи из трёх человек — у него подрастал слабоумный сын Коля, жена Вера Павловна работала медсестрой. Я иногда дразнил бедного Колю, когда его приводили к нам на посиделки, подсовывал ему кислые груши. Коля машинально ел их, морщился и уже готов был заплакать, на лице его перед слезами

показывалась страшная, в полные зубы, улыбка идиота.

Иона Михалыч потихоньку грозил мне пальцем: не дразни его!..

Своего мучителя Иоганна Иона всё-таки однажды встретил... Нашего токаря-новатора за его рационализаторские предложения отправили вместе с колхозной делегацией на ВДНХ, где Ионе должны были вручить серебряную медаль.

Там как раз в эту пору проводилась выставка достижений немецких фермеров. Один из стендов был посвящён работе Иоганна, который в течение многих лет селекционного труда вывел нежирных свиней беконной породы. Под стеклом холодильника демонстрировался срез свиного сала с многочисленными прослойками мяса.

Протиснувшись сквозь небольшую толпу к Иоганну, Иона взглянул ему прямо в глаза. Обыкновенный седовласый человек с красной от волнения лысиной водил указкой по срезу сала, объясняя, как он вывел столь полезную породу свиней. Увидев и узнав Иону, фермер потерял дар речи, указка со стуком упала на мраморный пол. Некоторое время два седых пожилых человека молча смотрели друг на друга. Затем Иона резко повернулся и ушёл. В тот же день, не дожидаясь окончания экскурсии и вручения медали, он забрал свой чемодан из гостиницы, уехал домой. А медаль ему

спустя несколько дней привёз и вручил в своём кабинете сердитый председатель колхоза, обругавший Иону за неповиновение подходящими словами.

Я подрастал, увлёкся фотоделом. Иона Михалыч, глядя на меня, купил себе точно такой же фотоаппарат «Зенит», которым впоследствии не сделал ни одного снимка.

Увидев у меня катушечный магнитофон, Иона Михалыч поразился — он услышал звучащий с плёнки свой голос! Несколько раз он просил повторить запись, с удивлением прослушивая самого себя. Вскоре он купил себе точно такой же магнитофон, пригласил меня к себе, чтобы я показал, как нажимать кнопки. Затем до самой его смерти магнитофон пылился на подоконнике, Иона Михалыч не сделал на нём ни одной записи.

Он любил современные вещи. Доживи Иона Михалыч до наших дней, он бы непременно купил компьютер, чтобы ни разу не включить его.

В начале семидесятых он вдруг заболел и умер — народ говорил, что рак у Ионы Михайловича «приключился от пережитых нервов».

## ПАТЕФОН-55

1955 год, мне пять лет, я сижу под вишней на одеяле и кручу хромированную ручку патефона. Для меня это вроде игрушки.

Родители и соседи собрались на лужайке нашего вишнёвого сада, чтобы отметить День Победы.

Не только из-за Дня Победы — эти люди были тогда ещё сравнительно молоды, им было лет по тридцать, им хотелось танцевать под патефон, немного выпить, полюбоваться цветущими вишнями.

В домах в те годы ещё не было телевизоров, даже чёрно-белых, радиоприёмники были не во всех семьях, на стенах домов висели картонные репродукторы в форме больших чёрных тарелок, их называли «лопухами».

Но вернёмся в тот замечательный весенний день, овеянный запахом цветущих садов и ароматами уже далёкой, но оттого не менее прекрасной и величественной Победы.

Сосед дядя Вася принёс в сад свой патефон, с десяток пластинок с танцевальными мелодиями.

Пары были одеты по-летнему, женщины в лёгких развевающихся платьях, с кудрявыми причёсками, мужчины в широких брюках и светлых рубашках с закатанными рукавами.

Я был доволен своим занятием — ел сладкий глазурный пряник и время от времени подкручивал пружину патефона, а когда забывал подкручивать, патефон словно бы угасал, мелодия звучала искажённо и дребезжаще.

Танец кончался, звенели стаканы, до меня доносился знакомый

запах водки, по саду раскатывался громкий смех взрослых людей. Мужчины в перерывах между застольем и танцами курили, о чём-то разговаривали. Мой отец не курил, зато изрядно выпил, пытался танцевать го-пак, из-под его каблуков летели клочки травы и земли, а когда он упал на муравейник, все засмеялись, я тоже.

Потом они подпевали своей любимой песне, звучащей с пластинки: «Мы парни brave, brave, brave...» А мне они, мои соседи и отец, уже казались старыми, немного полноватыми, покачивающимися, с чуть багровыми и какими-то одутловатыми лицами. «Мы парни brave...» Даже я, маленький человек, понимал, что они уже не юноши и не солдаты, а взрослые, усталые от войны и трудов люди.

Я был доволен своим новым занятием, крутил ручку патефона почти не переставая.

Иногда хозяин патефона, дядя Вася, поворачивал раскрасневшееся лицо, шутливо грозил мне пальцем — крути патефон полегче, пружину сломаешь!..

Но я крутил почти без остановки, мне, пятилетнему мальчику, нравилось крутить эту замечательную рукоятку, легко отзывающуюся под ладонью. Неожиданно внутри волшебного музыкального ящичка хрустнуло, музыка пискнула и перестала звучать, пластинка остановилась, блестели неподвижные



сверкающие бороздки на угольного оттенка диске.

— Патефон! — схватился руками за голову дядя Вася и зашатался, словно раненый. — Сانهк, ты сломал мой патефон! Я привёз его с войны, я его берёг...

Все заахали и заохали, праздник внезапно кончился. Мужчины выпили, но уже без весёлых шуточек, со вздохами, о чём-то говорили. Они вдруг загрустили, затосковали, словно замолчал не патефон, а исчез весь праздник. Притих солнечный день, в саду щебетали мелкие птахи... Меня никто не ругал, казалось, обо мне все забыли, и оттого мне было тоскливо и грустно. Я чувствовал себя виноватым — из-за меня праздник оборвался и внезапно кончился.

Дядя Вася сел на скамейку, продолжая сжимать голову обеими ладонями. Он вдруг встал, ушёл по тропинке вглубь сада, где цвела пышными цветами, распространяя конфетный запах, старая груша. Там он заплакал, зарыдал, тихо повторяя одну и ту же фразу:

— Мой патефон, мой патефон...

Все собравшиеся, даже я, понимали, что он плачет вовсе не о патефоне... Я знал, что дядя Вася был тяжело ранен на войне, у него не было нескольких рёбер и части лёгкого. Его жена, тётя Маруся, подошла к нему, начала успокаивать, поглаживала его длинный чуб, свешивающийся

набок и забавно покачивающийся на лёгком ветерке.

— Фашисты хотели уничтожить Россию, уничтожить нас всех... На фронте погибли лучшие, остались мы — больные, с раненой душой... Думаете, товарищи соседи, мне жалко этот патефон? Да ни капельки мне не жалко это германское изделие... — Дядя Вася схватил с примятой травы патефон, поднял его обеими руками, собираясь ударить о корявый ствол груши, но мой отец успел схватить его за руки, крепко их сжал, и несколько секунд оба стояли посреди сада в таком положении.

Женщины с испугом смотрели на них.

— Успокойся, Вася... — сказал мой отец. Он аккуратно отобрал у него патефон, поставил его на зелёную траву.

Покачиваясь, мой отец подошёл к скатерти, грузно плюхнулся на колени, налил себе стопку, выпил её в одиночестве. Я знал, что на войне отец был танкистом, механиком, после тяжёлого ранения — шофёром, и сейчас он тоже работал шофёром в «Заготзерно». Я любил его машину ЗИС-5 и навсегда запомнил её номер ОЧ 72-45. Первая буква означало название области — Орловская.

Отец был в праздничных диагоналевых брюках-галифе, в светлой рубашке с короткими рукавами, которую он называл «тенниской».

Женщины поправляли ска-терть с едой, хлопотали возле дымившего неподалёку само-вара, сизый духовитый дымок плыл по белому вишнёвому саду.

Моя мать была самая краси-вая — тёмные густые волосы, пе-ревязанные алой ленточкой, коса чёрная, уложенная венчиком на затылке. Волосы блестят на ве-сеннем солнце. На матери един-ственное праздничное тёмно-зе-лёное платье в крупную клетку.

Мужчины разошлись по са-довым тропинкам, курили. Мой отец никогда не курил, даже на войне, и сейчас он просто смо-трел в небо.

Я, огорчённый полумокрой па-тефона, чувствовал, как слёзы сами собой, в тишине, текут по моим щекам и тотчас заревел во весь голос, слыша как эхо моего плача разносится под кронами деревьев.

Все обернулись, подошла мать, взяла меня с одеяла на руки. Я чувствовал в настроении взрослых какое-то недетское горе и продолжал плакать, всё громче и громче, переходя на крик. Я чувствовал в себе войну так, как может её почувствовать ребёнок — как нечто чуждое, страшное, и в то же время навсегда свой-ственное этому миру; война была во мне, в моей детской крови, на-всегда привнесённая в меня кро-вью отца.

Вишни отцветали, лепестки, словно снежинки, падали вниз с пушистых соцветий.

Фронтовики были без орде-нов — в те годы они редко их надевали, да и праздник Побе-ды официальным праздником тогда ещё не считался, не было ни парадов, ни торжественных шествий. У отца было много медалей — «За отвагу», «За взя-тие Варшавы», «За взятие Бер-лина», орден Боевого Красного Знамени. Вот он опять закрыл лицо ладонями, потом отнял их от лица, глаза его были влажны.

— Вася, я почию патефон... — сказал он, повернувшись к со-седу. — Склепаю пружину, бу-дет как новая!

Дядя Вася подошёл ко мне.

— Об чём ты плачешь, Са-шок?.. Да кляп с ним с патефо-ном, я новый куплю (дядя Вася работал на лесоскладе и считал-ся по тем меркам состоятельным человеком).

Я тогда не мог понять, отчего я плачу, хотя чувствовал, что это как-то связано с войной, кото-рая кончилась десять лет назад, но тогда я не мог этого осознать своей детской душой.

## СТАРШИЙ СЫН

Он приехал рано утром и спо-койно сошёл со ступенек поезда. Набрав полные лёгкие зимнего воздуха, он не выдержал и улыб-нулся — родина! Но тут же ноги его дрогнули, заскользили по обледенелому перрону сельской станции. Сергей Николаевич с

горечью вспомнил, что умерла его мать, и поэтому он смог наконец-то навестить родную деревню Тужиловку, до которой оставалось пройти два километра.

«Приезжай, сынок! — писала мать в своём последнем письме. — Целый год тебя не видала, боюсь, что не увижу тебя больше — плохая совсем сделалась... Приезжай скорее! И люди наши на тебя посмотрят, и все мы тут будем рады. Я знаю, что ты — знаменитый учёный человек, которого берегут для государства и процветания Родины нашей любимой! Видала тебя один раз в телевизоре, кое-как встала, потрогала стекло, а оно холодное... Телевизор у меня хороший, с большим экраном, Маша отдала, а себе они новый купили, плоский... Теперича я совсем двигаться не могу... Я не жалуюсь, просто соскучилась по тебе. Приезжай, сынок!»

И вот он приехал. Надо было приехать раньше, но Сергей не думал, что мать умрёт так внезапно. Ему на работе нужно было довести до ума сложный проект, аналогов которому пока ещё нет... И вот теперь, скользя по обледенелой полевой дороге, прикатанной колёсами тракторов, он медленно шёл в направлении Тужиловки, часто останавливаясь и разглядывая всё вокруг. Узнавал места и очень боялся идти домой, где его ждала мёртвая мать. Привыкший мечтать, он пытался уверить себя

в том, что умерла чужая, а вовсе не его мать...

Деревня Тужиловка почти не изменилась за минувшие десятилетия, выросли несколько солидных особняков московских и областных дачников, а домик матери, его родной дом, был всё таким же маленьким, знакомым, будто Сергей только вчера уехал из него.

Задержался на пороге, прислушиваясь к неприятному гулу внутри дома, затем вошёл в душную, пахнущую ладаном комнату. И сразу же вздрогнул, потемнел лицом, снял шапку. Впившись глазами в гроб, он больше не отрывал от него взгляда.

— Сергей! Серёжа приехал! — разнёсся по комнате тихий старушечий шёпот.

К нему тут же подбежали две сестры, Оля и Маша. Заглотили, мокрыми красными лицами прижались к его небритым щекам. Потом сразу перестали плакать, наперебой начали говорить о том, как ждали его, но не знали, каким поездом он приедет. Спросили, не привёз ли он апельсинов, а то в автолавке нет, хоть и заказывали, и ещё какого-нибудь гостинчика для поминального стола.

— Я ничего не привёз, — ответил он, не узнавая свой глухой голос. — Я... Я не мог...

— Неужели там, в Москве, ничего нет?

— Я не мог! — повторил он глухим провалившимся голосом.

Старушки в углу снова зашептались.

— Какой, однако, жадный! И самолюб! — говорили тихонько старушки. Но говорили так, чтобы он мог слышать. — С мальству был такой нехороший. Только об своих железках и думал, всё избретал чевой-то...

Он сел возле гроба и принял-ся молча смотреть на мать. Губы его были плотно сжаты, глаза почему-то оставались сухими. Волосы на лысеющей голове сбились в бесформенную кучу, но он не поправлял их. Шапку свою он уронил на пол и, не замечая этого, наступал на неё ногами.

— Хоть бы слезинку уронил или словечко какое вымолвил... — осуждали его старушки. — Сидит, как пень. Всегда был такой бирюк...

Сергей отвык от деревенского неспешного говора, и сейчас ему было забавно слушать, как соседки говорят, что хлеб, купленный на поминки в автолавке, — «твёрстый, учарашний». В соседней деревне со странным названием Цкнтроповка, хотя она совсем рядом, выговаривают по-другому, про вчерашний хлеб говоря так: хлеб «учорошний». Иногда Сергею казалось, что он от долгой жизни в столице и напряжённой творческой работы навсегда забыл родную деревенскую речь, когда слова выговариваются как бы сами собой, звучат кругло и бесформенно.

Но иногда деревенские словечки вырывались и у него. Однажды директор института сказал Сергею, что его приглашают в ЦК КПСС для беседы.

— Чаво ж они тама от нас хочуть? — машинально пробормотал он.

— Не хочуть, а хотят! — поправил его директор. — Разговор будет секретный, там скажут, что нужно делать... Знаю одно — финансирование будет солидное, практически неограниченное!

Сходили с шефом на Старую площадь, получили срочное задание по улучшению систем коррекции движения ракет. Сергей активно, как это всегда бывало с ним при виде трудновыполнимой задачи, почти целиком ушёл в себя. Со школьной, согнутой пополам тетрадкой не расставался, она с привязанной ниткой карандашом по ночам лежала у его изголовья. Жена и дочь его не беспокоили, знали, что отец в таком состоянии почти не способен к бытовому общению. А мать тут, в своей деревне Тужиловке, удивлялась, почему от Серёжи за последние три месяца нет ни одного письма! И только позвонив из районной почты ему на квартиру, мать убедилась в том, что Серёженька жив и здоров.

Сейчас он смотрел на белое, словно бумага, лицо матери и думал о том, что прежде никогда не разглядывал её так внимательно и даже не задерживал на её лице взгляда. Ему всегда

было некогда, он думал только о своих увлечениях, о себе самом, мечты переполняли его, отодвигая обыденную жизнь на второй план. Сергей не замечал, как мать старела, не замечал, как она сама носит воду из колодца, сама колет дрова. Она никогда его ни о чём не просила. Наоборот, радовалась, что Серёженька сидит над непонятными схемами и чего-то рисует в тетрадку, с которой никогда не расстанется. Она с небольшой своей колхозной зарплатой, состоящей в основном из «палочек»-трудодней, давала ему денег на покупку радиоламп и других радиодеталей, за которыми Серёжа ездил в Елец, а когда возвращался и с ходу начинал мастерить очередной прибор, в комнате пахло паяльником и жжёной канифолью. А скоро на единственном столе в углу хаты начинал петь и разговаривать самодельный радиоприёмник. Серёжа сиял, мать тоже радовалась — сынок сам смастерил приёмник, весть об этом разносилась по всей деревне. Жители радовались — свой радиомастер появился!.. И он, действительно, охотно чинил соседям первые, только что появившиеся в продаже советские телевизоры... Отца Серёжа плохо помнил, тот вернулся с войны тяжелораненым, работал на колхозном току учётчиком и рано умер от давнего осколочного ранения, которое вдруг обострилось. Теперь вот и не заметил, как умерла мать, которая до последних дней сама

старалась ухаживать за собой, дочерей она также старалась не беспокоить... В сложенных на груди руках матери горела свеча. Свет её дрожал, жёлтыми пятнами танцевал на лице покойной. Сын смотрел на мать, и ему казалось, что сейчас она откроет глаза, вздохнёт, как вздыхала обычно, когда просыпалась поздней ночью и видела, что Серёжа чуть ли не до утра сидит над мудрёными книгами.

Старушки о чём-то тихо совещались, одна из них, читалка, или как её иногда называют в народе — «монашка», начала читать по церковной книге. Голос её — резкий, с подвывом, неприятно раздавался в душном приторном воздухе. Время от времени старушки хором подпевали: «Вечна-а-я па-а-мять!..»

«Монашка» читала о каких-то грехах, которые якобы имела покойница и которые должны были проститься ей на том свете.

— Перестаньте! — воскликнул вдруг сын. — У моей матери не было грехов!

Читалка обиделась. Закрыла книгу, ушла на кухню. За ней кинулись старушки, сёстры, и все принялись уговаривать читалку остаться на всю ночь, потому что так полагается:

— Э т о т ляжет спать, а мы потихоньку дочитаем...

Но читалка с брезгливой гримасой схватила деньги, которые ей протянула одна из сестёр, и ушла, громко хлопнув дверью.

Сергей Николаевич закрыл лицо ладонями и понял, что здесь он никакой не лауреат, не гений, а пожилой человек, такой же седой пенсионер, как и все собравшиеся к покойнице люди.

Вскоре в комнату шумно ввалились мужички, которые рыли могилу. На их лицах было написано спокойное самодовольство. Они потирали озябшие ладони, расстёгивали куртки с налипшими к ним крошками глины.

Сергей смотрел на обветренные лица копачей, и его сердце ныло от зависти и одновременно от неприязни к этим людям, которые спокойно и даже с каким-то торжеством хоронили его мать.

— Восемьдесят пять годов прожила на свете, это нормально! Дай нам Бог столько прожить!.. — беседовали меж собой те, кто пришёл на похороны.

— Хозяин! — сказал один из копачей, обращаясь к Сергею Николаевичу, как к единственному мужчине среди родственников. — Налей-ка нам, пожалуйста, по стаканчику. С утра ведь работали... Могила — красота! Сделали как положено — глубина два метра! А земля, я те скажу, мёрзлая, ломом едва продолбили первый метр...

Голос бригадира копачей казался Сергею чересчур гулким и басовитым.

— Не шумите, пожалуйста... — ответил задумчиво Сергей. — Мать умерла... Ступайте к Марии, к сестре!

— Ды-к я им на кладбище три поллитры завернула и закуску в придачу! — возмутилась Мария. — А они ещё просят. Думают, ежели учёный человек, так у него спирта целая бочка!.. Да сколько же вам, ненасытным, давать?..

— Так мы это, вроде как во вкус вошли, добавить надо бы, хозяйка!

— Дай людям, коли просят! — Сергей достал бумажник, вынул из него почти все деньги, довольно солидную пачку, оставив немного себе на обратную дорогу. Тысячную бумажку отдал копачам, которые поначалу не хотели брать купюру — «много, хозяин, что ты!..» Однако Сергей непререкаемым жестом велел копачам уходить... Остальные деньги отдал старшей сестре Марии. Денег было много, и она, остолбенев, застыла посреди комнаты. Лицо её просветлело, на нём появилась странная улыбка.

— Хвизик, лавуреват! Бонбы изобретая, новую «катушу» изделал — по телевизору балакали об етом... Захоча — кнопку нажмёт, и всей Европе калпек... Недаром покойница говорила, что Серёженька ейный для Родины гораздо нужнее, чем для неё, для матери родной... — Старушки замолчали, с почтительным видом наблюдая, как Мария, вытирая заплаканное морщинистое лицо, прячет купюры во внутренний карман плюшевой

жилетки, застёгивая его накрепко булавкой.

— А глаза у него всегда какие-то дикие, ненашенские... — тихо сказала другая старушка. — С мальству он был потаённым человеком, чужим для всех нас...

«Я не чужой! — подумал Сергей машинально. — Здесь мой дом, и здесь моя мать».

— На похороны приходите, закапывать, даже не напивайтесь! — крикнула Мария вслед уходившим мужикам.

Сергей просидел возле матери до часу дня, пока не пришло время выносить гроб. Сёстры в чёрных платках то плакали, то умолкали, успевая командовать приготовлением закусок для поминок.

Иногда старший сын выходил на улицу покурить, делал торопливые затяжки, чтобы скорее вернуться в дом, к матери. Морозный ветер шевелил остатки его мягких седых волос, вздымающихся вокруг жёлтой, будто отполированной лысины. Он вспомнил, как в годы перестройки, когда вдруг начались перебои с продажей сигарет и выплатой зарплат, мать присылала ему махорку, выращенную на огороде. Часть махорки она продавала на базаре, а вырученные деньги также отправляла Серёже — на хлеб и молоко семье. Деревенские люди удивлялись, упрекали мать — дескать, ты тоже на старости лет в «бизнес» ударились? Кому теперь

нужны изобретения твоего Серёжки — СССР разваливается, ракеты на металлолом сдают!..»

Она молча перебирала пуговицы узловатыми руками, ей тоже было неловко, что она, ударница 9-й пятилетки, Почётная колхозница, награждённая орденом Трудового Красного Знамени, некогда «знатная свекловичница», фотографии которой публиковались в газетах, ныне вынуждена стоять с мешком махорки в райцентре, возле ворот базара и продавать её стаканами. Бандиты сколько раз подъезжали, требовали с «мамаши» деньги, кроме того, милиционеры с базара прогоняли, дескать, нельзя торговать без лицензии...

Она отвечала, что, дескать, Серёжа привык курить, без табака ему в голову ни одна научная мысль не приходит.

Сергей Николаевич, действительно, курил очень много, в Москве, в период нехватки сигарет, он, словно солдат, всюду таскал с собой отцовский кисет, который тот принёс с войны. Кисет всегда был наполнен махоркой. Однажды во время совместного симпозиума с американскими учёными, Сергей Николаевич, по обыкновению, во время перерыва, не задумываясь, свернул из обрывка газеты «козью ножку», насыпал в неё махорки, торопливо и жадно закурил. К нему тотчас устремился директор института,

протягивая Сергею Николаевичу пачку «Мальборо»:

— Сергей, пожалуйста, не позорь нас своими самокрутками, а то американцы подумают, что наши учёные совсем обеднели, коль курят махорку в самокрутках... Вот тебе настоящие сигареты!

Сергей Николаевич с любопытством разглядывал заснеженный деревенский выгон, из сугробов торчали обломки футбольных ворот. В детстве Сергей также любил погонять мяч, купленный мальчишками в складчину. Мяч, не выдерживая нагрузки, лопался по шву. Зашивать его доверяли старательному Серёжке, и он аккуратно шил мяч самодельной, с хитрым изгибом иглой, используя для шитья просмоленные нитки, выданные из транспортёрной ленты... Вот и сейчас рука его машинально потянулась к внутреннему карману пиджака, где у него всегда лежала свёрнутая пополам тонкая школьная тетрадка, прочих блокнотов он не признавал, новые идеи почему-то охотнее ложились на школьные синие клеточки... Всегда под рукой был карандаш. Привычка к тетрадке и карандашу осталась у маститого учёного с детских времён, когда он на каникулах помогал пасти колхозное стадо, и позже, студентом физмата, он в вагоне метро рисовал в памяти тетради схемы и формулы, а по вечерам, не расставаясь с

тетрадкой, ехал подрабатывать грузчиком на овощную базу...

Не чувствуя холода, Сергей Николаевич достал тетрадь и углубился в расчёт формулы, совмещающий свойства сверхпроводимости металла, помещённого в мощное магнитное поле. Над этой темой он работал сегодня ночью в поезде.

Вернулись мужички, уже крепко подвыпившие, двое из них покачивались, подняли гроб на полотенца и, громко понося друг друга, понесли его к выходу.

— Стойте, стойте! — закричали им наперебой старушки. — Куда же вы головой вперёд прётё, идола!

После недолгих манёвров посреди тесной комнаты, мужикам удалось развернуть гроб, но, выходя из дома, один из них поскользнулся на льдистом пороге и упал на спину, глупо вытаращив глаза.

Тело матери качнулось, едва не вывалилось из гроба.

Лицо Сергея в этот момент исказилось ужасом. Он отчаянно вцепился ладонями в край гроба. Чувствуя руками свежеструганное дерево, он на миг испытал желание втоптать гроб обратно — пусть мать ещё побудет дома...

Сестры охали, ругались на носильщиков, а те, в свою очередь, спорили, по какой дороге удобнее идти на кладбище. Старушки предлагали пройти по центральной улице, чтобы



все видели похороны, а мужики предлагали нести гроб ближним путём — наискосок через выгон.

Все ждали решения Сергея: пусть старший сын скажет.

— Какая разница? — удивлённо огляделся по сторонам Сергей. — Ведь матери всё равно уже нет на свете...

Сестры замолчали, но про себя обиделись на брата. «Всегда он был такой! Никогда ни с кем не любил попусту разговаривать. Ни с нами, ни с матерью. Всегда он что-то изучал, читал. Даже за едой читал! Насчёт домашней работы палец о палец не ударял. Эгоист!»

Подвыпившие мужики крятели под тяжестью гроба. Сколько они таких гробов перетаскали, неизвестно, сами уже седые, скоро их тоже, по очереди, отнесут на заросшее бурьяном кладбище.

— Сырые доски! — ворчали мужики. — Сама-то бабка лёгкая, маленькая. В ней и нести-то уж нечего.

Они говорили также вполголоса о том, что погода портится, опять сверху несёт крупой, дорога становится «склизкой».

Сергей молчал, старушки всю дорогу распевали «Вечную память». Он шёл с суровым лицом, возвышаясь над маленькой кучкой людей своей непокрытой лысеющей головой. Снежная крупа набивалась в его редкие смятые волосы, била его по лицу.

— Серёж, одень шапку! — несколько раз предлагали сёстры.

— А то можешь голову застудить, а ведь она тебе для работы нужна...

Он ничего им не отвечал.

— Гордый какой! — удивлялись старушки. — Хочет из себя особенного человека показать. Авось што с ево взять — хвизик!

«Какая она худая стала! — думал он о матери. — Болезнь её совсем истончила».

С горькой усмешкой вспомнил о том, что иногда забывал посылать матери денег. Да и сама она писала в своих редких письмах:

«Зачем мне твои деньги, Серёжынька? Я в деревни живу, пенсию получаю, двенадцать курей держу, дочеря мои, твои сёстры, всегда рядышком...»

Вспомнил, как в раннем детстве ему, пятилетнему, мать сама перешила красное пальто, перелицевав его из большого женского в маленькое детское. К пальто был пришит овчинный воротник, и все люди говорили: «Какой аккуратненький мальчик, и с каким умным личиком!»

На кладбище, когда гроб уже забили гвоздями, и когда сёстры кричали в голос, обливая гробовую крышку слезами, сын молча стоял, казалось, ничего не видя вокруг себя.

Мужички начали бодро засыпать могилу землёй, смешанной со снегом.

Все молчали, сёстры вытирали мокрые лица и вполголоса беспокоились о том, что подгорели

блины, и холодец никак не хочет застывать, хотя его вынесли на улицу и поставили в снег.

Постепенно вырастала кучка земли, принимая форму могильного холмика. Мужички утомились, часто отдыхали, рассуждали о том, что в городах земля на кладбищах расходуется более экономно. Там, дескать, не разрешают рыть могилы на большую глубину. А вообще-то лучше всего, когда мертвеца сжигают. Тому, кто помер, уже всё равно, что с ним сделают, а живым больше места и меньше хлопот.

— Ну всё, Сергей, зарыли! Пусть ей земля пухом будет. Пойдём её поминать!..

— Вы идите, я потом. Побуду здесь.

— Пусть побудет... — перешёптывались старушки. — Может, у него душа отмякнет...

В тесном жарко натопленном домике всех ждал накрытый стол с обильной выпивкой и закуской.

А Сергей остался на кладбище совсем один и с какой-то глупой улыбкой на лице пытался вспомнить живую мать, смотрел вниз, словно хотел увидеть её через двухметровый слой глины. И вдруг звонко, по-мальчишечьи вскрикнув, упал на свежие глиняные комья могилы и начал говорить матери давние забытые слова.